

В расчетах выходила невязка, надо было проверить два-три угла. Землемер пошел в поле – последний раз.

На парах – полынь осыпалась сухой, желтой пылью. Веял ветер, пел ветер весь день – и душно было еще пуще от ветра. Еле тащил себя землемер на чудных своих мушиных ножках, ботинки дамские – французские каблуки спотыкались о колючь. Угрюмо с вешками шли каликинские мужики, и только Митрий, маляр, не замолкал ни на минуту: все о том же, насчет управляющего Лизаветы Петровны.

– Вот она книжка, да-с, – размахивал Митрий записной книжкой. – И здесь доклад: я это в городе все произошел, да-с. И совершенно очевидно, что господин управляющий продал нам землю вульгарно и неправдоподобно. Не такое нынче время, чтобы продавать, да-с...

У Митрия правый глаз от паралича прищурен, одна бровь выше, другая ниже – все будто подмигивал, и не мог никак землемер привыкнуть.

На губах у землемера – полынная горечь. Оглядывал – последний раз – желтые одонья хлеба, лиловые чаберные луга, ослепшую от зноя Мечь внизу – и все складывал в заветную шкатулочку: увезти с собою в Москву. И вслух, неожиданно для себя, спросил – должно быть, себя же:

– А Лизавета Петровна – как же?

Маляр Митрий поглядел хитро прищуренным глазом:

– Лизавета Петровна – что ж: никаких закононарушительных пороков мы за нею не знаем. Прогуливает себя с белой собачкой, только и делов... да-с...

Кипенно-белого Лизаветы Петровны фокса землемер тоже запер в шкатулочку и заковылял дальше. Гумном подходили уже к сыроварне. Тут землемер по воскресеньям читал мужикам про молочное хозяйство и с Лизаветой Петровной вместе, как будто так еще недавно, учил их есть сыр.

У сыроварни стали прощаться. Пожимал землемер шершавые, из сосновой коры руки, схватывало горло – не с ними прощался – слова спотыкались.

– Ну, с п-п-покупкой вас. Л-ли-лихом меня не помянете, худого ничего не сделал?

Невнятно загалдели, все одинаковые – из сосновой коры, только бороды разные: калачом, сосулькой, пасьмом льняным, козьим хвостиком.

Вытолкали вперед калача: круглая, рыже-румяная, как поджаренный московский калач, борода.

– ...Ишь вот ребята говорят, насчет мыла ты нас дюже обидел. Неладно это – над людьми изгаляться.

– Какого мыла?

– ...Мы этого самого мыла тогда фунтов пять приели. Желтенное, вонюченное, и глядеть-то гаведно, а ты – народ кормить, а сам с барыней потешаешься.

– Господи, сыр же это, говорил же я! – засмеялся землемер: нельзя было не засмеяться.

И стало от смеха нестерпимо: было согнуто в одну сторону – смех перегнул насильно в другую – и хрустнуло. Почуял землемер: будет смеяться все пуще, махнул рукой – и побежал в дом. Большая, прекрасная, с длинными волосами землемерова голова нелепо болталась – чужая мушиным ножкам голова, – с трудом нес чужую голову. Мужики сзади гоготали – знал землемер: все над теми же его бабьими полусапожками на высоких каблуках – и сам смеялся все пуще.

Лизавета Петровна была еще у себя, наверху. Землемер один, в угловой бильярдной, укладывал чемодан. Значит, опять – Москва, протабаченная пустая комната, и быть может – уж никогда больше в жизни...

Показалось: постукивание легких шагов в гостиной. Выбежал: никого, пусто. И только где-то легонько в венцах дубовых стен или в красного дерева креслах – поскребывал шашель. Вспомнил, как-то раз бухнулся с размаху в кресло, а ножка-то – крик: вместо дерева – внутри уж труха, дым. Нянька Авдевна выметала, ворчала под нос:

– У нас все чуть лепито, а ты эка, батюшка, брякнулся как.

«Все – чуть лепито, – думал землемер, – чуть потяжелее, чем сон. Дохнуть – и нету. И не надо дышать, не надо говорить, называть вслух: пусть – сон...»

После обеда сидели с Лизаветой Петровной на балконе – последний раз. Тени от лип быстро длиннели, налегали все тяжелей. Под полом начали точить свои ножички три-четыре сверчка. Все острее ножички, и в виске бьется все чаще.

– Полею проходил – хлеб-то уже в одоньях ст-стоит... – будто бы про хлеб землемер, но Лизавета Петровна – слышала про что.

– Да, вот и конец лету... – Помолчала. – Так вы это окончательно решили: завтра?

– О-к-к-кончательно. Да оно, может, и лучше так-то.

– Вы так хорошо знаете, что лучше? – и где-то еще ближе от Лизаветы Петровны, еще чаще заточили сверчки.

Землемер усмехнулся:

– Вернее знаю, что хуже. Вот я нынче с астролябией ходил-ходил, жарыща, и про к-к-квас думал: ничего нет на свете лучше квасу. А оказалось: квас – как квас, и даже м-му-ммуха в квасу.

Посвистывал землемер что-то веселенькое. В кармане отыскал ключ, стиснул изо всех сил, бородка – острая, так хорошо, что острая, и глаз не отрывал, запоминал навсегда: золотой туман волос, голубые жилочки на висках у Лизаветы Петровны, и всю ее – чуть лепитую, хрустальную.

Так было все два месяца: посвистывал землемер и будто бы усмехался и ни разу не сказал вслух. А завтра уедет – и все.

Лизавета Петровна взяла с полу кипенно-белого фокса Фунтика. Медленно, с закрытыми глазами, тихонько прижимала Фунтика к груди. И так же тихонько стискивала землемерово сердце, было страшно поверить, боялся землемер шелохнуться – рассыпется все, как сон.

И нет силы молчать. Вскочил землемер, забежал по балкону. Половицы с дырками, старые, застонали.

– Ли-лизавета Петровна... – и споткнулся: в какую-то дыру попал высоким каблуком, застрял, не вытащить – засмеялся, вспомнил землемер – бабьи свои полусапожки с пуговками.

Сел в кресло, нарочно положил нога на ногу, чтоб видно было, чтобы больнее, – нагнулся к каблуку.

– Хм, по вашим полям ходючи – каблуки стоптал. На моих французских каблуках – да по колочи.

– Вы другого разговора не придумаете – для сегодняшнего вечера хотя бы? – Лизавета Петровна сбросила Фунтика с колен, встала.

– Ну что же вам? Насчет луны чего-нибудь? Так и на луну туча насела.

Туча была темно-лиловая, узкая и длинная, как язык.

– Язычина-то с неба какой нам высунут, а? – глядел вверх землемер. – То есть до чего п-п-подходяще: именно – язычина с неба... – закатывался землемер.

Лизавета Петровна молча ушла в комнаты. Землемер посидел еще один. С пустыря тянул зеленоватый, горький от полыни и от луны, ветер. Сверчки затихали.

На дорожке увидел землемер белого Фунтика. Подозвал к себе – взял на руки. Но оглянулся назад на окна: в окне что-то белело. Скинул Фунтика с дорожки ногой – и пошел прямо, к пустырю.

За ужином говорили о земле, о купчей с каликинцами, о бунтах, о мужичьем царстве. И все землемер смеялся: что-то про Митрия, маляра – и смеялся, опять про язычину с неба – и смеялся.

У буфета стояла нянька Авдевна – разлатая, книзу широченная, как матрешка. Не вытерпела Авдевна землемерова смеха:

– Уж больно ты мнимый об себе человек, погляжу я. И все смеется, и все ему чудно. Ну только бога не пересмеешь, брат, не-ет!

Но землемер не унимался. И только когда ушла Лизавета Петровна наверх и остался один – затих. Сидел, оплывала свеча. Налево в окне проступало далекое зарево: где-то горела помещичья усадьба. Все по забывчивости взглядывал землемер на стенные часы, и все было на часах половина второго: уж сколько годов часы стояли, и только тихое тиканье грусти, и шашель потукивает в стенах.

Канун второго Спаса, бабы скребли пол, сажали пироги с яблоками в печь. И наверху – тоже, чисто хлебную печь разжарили: так и пыhalo пылом вниз. Куры языки повысунули, бродили осовелые. Воробьи трепыхались в золе. Для малярной работы – самое любезное время, и взгромоздился Митрий на крышу к лавочнику Ивану Ивановичу: зеленым колером к празднику покрыть железную крышу.

Ясное дело – перед праздником был Митрий немного навеселе и распевал любимую свою песню:

Мине кстили у трактире-кабаке,

Окурнали у виноградном у вине,

Отец крестный – целовальник молодой,

Мамка крестна – винокурова жана...

Сам шершавый и взъерошенный, как воробей драчливый, – с воробьями разговаривал Митрий по-товарищески:

– Ну, что, братцы, праздник? Эх, и дрызнем! Да-а-с... Ну куда вы, куда? Кши! Ножки в зеленое замараете.

А внизу ребятенки чистили носы, сосредоточенно и подобострастно поглядывали вверх на Митрия.

И случилось – увидел сверху Митрий: бежит по улице Фунтик Лизаветы Петровны, кипенно-белый. Бежит – и все на сторону сбивается: должно быть, еще с той поры привычка осталась, как был у Фунтика хвост, перевешивал на сторону. И замахал Митрий ребятам:

– Держи, держи, братцы! Держи собаку барынину!

Бросили ребята свои носы, растопырили руки, вдогонку за Фунтиком – только зола завилась. А Митрий уперся в бока, гогочет и все кому-то правым глазом подмигивает.

Приволокли Фунтика, завозились над ним кучей ребята внизу. И пришло в голову Митрию: устроить потеху.

Спустил вниз на веревке ведро с зеленой краской:

– Кунай его, ребята, чего там! Кунай его в ведро-то, крась!

Выкрасили Фунтика в зеленое – и отпустили. Страшный, слепой, зеленый – как-то Фунтик все-таки дотащился домой и забился в свой уголок в столовой.

А во дворе, перед каретным сараем, закладывали уже тарантас, приторочивали чемодан землемеров. Землемер – как улыбнулся с утра, как схватился рукою за тяж – так и стоял. А Лизавета Петровна – что-то будто делала, распоряжалась будто. Бегаёт-бегаёт и станет: что-то такое не позабыть бы, не упустить, а что – никак вот и не вспомнить.

– Ах, что же я: закусить на дорогу... – встrepенулась Лизавета Петровна и побежала в столовую.

И услышала в столовой жалостный стон в углу: Фунтик – зеленый. Хлынули слезы – за все сразу. Бросилась перед ним на колени, заломила руки:

– Фунтик мой, миленький мой, миленький! За что? Фунтик мой миленький!

Было слышно и во дворе. Спотыкаясь, помчался землемер в дом и увидел: страшного зеленого Фунтика и Лиза-вету Петровну – в перемазанном зеленой краской белом платье, и слезы – утирать не могла – сыпались слезы на пол, как слепой дождь на пол.

Забыл землемер обо всем, нагнулся и стал гладить волосы Лизаветы Петровны, закрыл глаза, прижал к себе голову тихонько-тихонько, как вчера – прижимала Фунтика Лизавета Петровна, и такая же боль в сердце.

Ничего не сказала Лизавета Петровна, только минуту еще сильнее молча сыпались слезы на пол. Потом встала и тихо обернулась к землемеру:

– Может быть, еще не поздно?

«Нет! Не поздно!» – хотел закричать землемер. Но увидел: подавала ему Фунтика Лизавета Петровна: это о Фунтике – не поздно.

– Может быть, и поздно, но я п-п-попробую, – ответил землемер.

Фунтика вымыли бензином, но и бензин не помог: глаз не открыл Фунтик, так к вечеру и помер.

Провозился с Фунтиком землемер – совсем из ума вон про тарантас, про чемоданы. Глянул на часы: сегодня уж и думать было нечего. Конфузливо спрятал от Лизаветы Петровны глаза:

– Я велю от-отложить. Завтра придется ехать. Уж вы м-м-меня простите.

– Прощаю, – улыбнулась Лизавета Петровна. Глаза были заплаканы, но, смытые, сияли, хрусталь был синий.

А землемер – все вожжи растерял: ни посвистеть, ни усмехнуться, сидел в кресле тихий –дохнуть страшно. И только в глазах-колодцах скакали колодезники с красными фонарями, все выскочить норовили наружу, да глубоко: не выскочить.

Все еще не шла Авдевна с самоваром, замешкалась чего-то. И уж хотела сама Лизавета Петровна на кухню идти – как вкатилась Авдевна, без самовара: какой там самовар! Вся была обвислая, невиданная. Упыхалась, охала, приперла дверь спиной и руки растопырила – будто кто гнал за ней – не пускать.

– Приехали... – никак не отдышится.

– Кто приехали? – вскочила Лизавета Петровна.

– Да каликинцы наши, кто же еще. О, господи: говорила тебе – уезжай... С телегами, тебя требуют. Что же это будет-то, о господи!

Твердо ступая ножками на французских каблуках, понес землемер свою – чужую – громадную голову: так рисуют Симеона-мученика с своей головой на руках. И вся в ознобе, кутаясь в шаль, вышла Лизавета Петровна.

Под тихой зеленоватой луной копошились разные бороды: калачи, сосульки, пасьма льняные, козьи хвостики. Калач выступил вперед, легонько, как ребенка, отвел землемера с дороги и поклонился Лизавете Петровне:

– Уж не прогневайся, Лизавета Петровна: хлеб из амбара выберем, и скотину там. Никак нельзя: конный по селам ездит.

– Какой конный?

– Какой-какой, известно какой. Да ты не бойсь: мы тихо-благородно. Управителя спалим – это уж верно. А насчет чего прочего – тихо-благородно.

Откуда-то вынырнул Митрий, подмигнул глазом, язык у него заплетался:

– Н-никаких закононарушительных... жи-жизненных пороков... С собачкой... И потому: ш-ш-ш! Прошу! Чтоб все тихо!

В гостинной Авдевна всхлипывала, пихала в корзинку серебряный кофейник, вышиванье, зимние ботинки Лизаветы Петровны. Лизавета Петровна подошла к землемеру:

– Ну куда же мы теперь?

От «мы» – взмыло землемера, вырос сразу:

– К Устряловым – шестьдесят верст, – вслух считал землемер. – На станции – весь день ждать. А что, если в монастырь, в Троекурово?

Это было правильно: к рассвету будут там, и от станции недалеко. Заложили тарантас, бросили корзинку и чемодан землемеров. С гумна шел скрип тележный и гвалт, как с ярмарки. Авдевна утиралась фартуком, прощалась с Лизаветой Петровной, как навсегда.

На повороте Лизавета Петровна оглянулась на дом: в окнах медленно двигался подслепый огонек – Авдевна со свечкой. Хоть и тихо-благородно, а кто знает: может, и не увидеть больше дома?

– Часы жалко... в столовой... Хоть они и не ходят... – дрожали губы у Лизаветы Петровны.
– И Фунтика – жалко. А впрочем... – и улыбнулась.

3

Обедня была праздничная, церковь битком набита. Вчера святили яблоки, еще осталась на клиросе чья-то корзинка с янтарным аркадом: пахло яблоками, воском и новым, нестираным, ситцем. В нос, однотонно, тонко пели монашки. Два мужика волокли под руку кликушу – причащать. Желтые глаза ввалились, кликуша кликала дико, а рот у нее закрыт, и будто кликал чей-то нечеловечий голос под сводами.

Фунтик зеленый, и бороды под луной, и кликуша, и в монастыре с Лизаветой Петровной вдвоем, как на острове... Натянулась тетива в землемере, звенела все выше, и вот еще

секунда – и сам завопит в одно с кликушей.

– Я не могу. Выйду... – нагнулся землемер к Лизавете Петровне.

Лизавета Петровна, на коленях, молча и упорно о чем-то молилась, должно быть, все о том же, и не сразу услышала землемера.

Кой-как протолкались наружу. В липовой аллее, в тени, полегчало, отпустило. Зачем-то сорвал землемер ветку, поглядел: маленькие липовые орешки, желтые, как воск, восковые цветы – вроде венчальных или смертных.

– А ведь после обедни нам номера обещали, – вспомнил землемер. – Может, освободились уже, пойдете?

Мать-ключница сидела у гостиницы на каменной скамье, уписывала большую, полтинничную просфору. И сама – просфора: только еще больше, пятипудовая. Белая, бокастая, толстая – как просфора; добродушная, уютная, вкусная – как просфора.

– Ну что, голубки, вернулись? Чаевничать будете?

– Вы нам, матушка, после обедни номера обещали, первый и третий. Уж нельзя ли как-нибудь: утомились очень.

Мать-ключница неторопливо подобрала просфорные крошки, ссыпала в рот.

– Ну уж, красавица, не прогневайся: ране вечера не будет. Уж как-нибудь перемогнитесь до вечера.

Тут только землемер и Лизавета Петровна почуяли, что устали, и ночь бессонную, и все. День плыл мимо, не задевая, как дрема. В укромном каком-то садике, под бузиной, пили чай с топлеными сливками. Под солнцем, по яростно-белым зубцам монастырской стены расхаживал павлин и кричал пронзительно, но только понимали, что кричал, а слышать – не слышали. Очутились перед какой-то избушкой в длинной очереди богомольцев. Крошечное избяное окошко завешено черным.

– Это куда же очередь?

– Куда-куда... – окрысилась на землемера голова в кашемировом платке. – Известно куда: к батюшке, к Стефану Болящему.

Медленно ползла очередь. Вошли в избушку вдвоем. Тесно, тусклая лампочка. Чернички в белых косынках, неслышно, мышино-суетливые. На огромном, одутлом лице – закрыты глаза у Стефана Болящего.

– Барин с барыней пришли, погляди на них, батюшка, погляди, драгоценненький. Скажи им, батюшка, скажи что-нибудь... – суетились чернички.

Стефан сидел в креслице неподвижно: громадная кукла, с прямыми, деревянными руками-ногами. Черничка стала сзади, пальцем подняла ему веки, как Вию. Глаза были неживые, свинцовые, уставились в Лизавету Петровну.

– Будете богаты. Через счастье – будете несчастливы... – Помолчал и прибавил неожиданно: – А проживешь сорок пять годов.

Усмехнуться бы землемеру, вспомнилось ему: так гадают цыганки. Но уже нашли его свинцовые Стефановы глаза, придавили.

– По... покорись... Покорись, говорю! – строго крикнул Стефан.

Хотел землемер сказать: «Уж я, кажется, покорился», да увидел, замкнулись веки, была только громадная неживая кукла...

После всенощной опять пошли в гостиницу. Все на том же месте, на каменной лавочке, сидела мать-просфора.

– Насчет номерков-то? Не позабыла, красавица, нет. А только уж больно нынче народу – труба, терпенья моего нету. Ну пойдем, поглядим.

В прихожей, на стене под лампой, висели ключи, синий черт ехал верхом на рыжебородом грешнике. Мать-ключница, не спеша, перебирала ключи. Еще раз перебрала, какой-то ключ вытащила.

– И рада бы, хорошие мои, да нету, сами глядите: только вот и остался один первый номер. Да он у нас большо-ой ведь, две кровати, балкон.

У землемера ухнуло сердце. Взглянул на Лизавету Петровну: она вся до ушей полыхала.

Натянул землемер поводья изо всех сил – и как будто голос был ровный, не дрогнул:

– Ну нету – так нету. Придется, значит, в первый.

– Ну вот и ладно. Пожалуйста, други мои милые, а я самоварчик сейчас принесу... – не спеша, вкусно пела просфора пятипудовая.

Так будто в номере жарко – дышать нечем. Заторопился землемер балкон открыть. Напротив, сквозь липы, дрожал, тухнул в последних лучах золотой крест. По белой стене медленно гулял павлин и поглядывал вверх на облако: было оно длинное, лиловое, по краям – прозолотина.

– Вот – видите – как тут – хорошо – облако... – обрывалась Лизавета Петровна на каждом слове.

Принесла мать-ключница самовар и золоченые кружки: должно быть, такие полагались к первому номеру. Взял свою кружку землемер, повертел. На одной стороне был голый старец под деревом и подпись: «Ной», а на другой стороне – золотые литеры: «Пьяный проспится, а дурак никогда».

Прочитала вслух – засмеялась Лизавета Петровна, засмеялся землемер. Вкусно засмеялась просфора пятипудовая, поклонилась, плотно прихлопнула за собой дверь в мир.

От прихлопнутой ли двери или от чашки с Ноем – напала смехота смертная, отчаянная, до колотья. А брал чашку от Лизаветы Петровны, тронул ее руку землемер – была рука холодная – лед.

– ...Помните, ученица у меня, Устюшка? – задыхалась Лизавета Петровна от нестерпимого смеха. – Все ничего, ничего, а как месяцы начнет считать – так готово: март, апрель, Ной, июнь... Ной–ой – не могу! – и сквозь синий хрусталь проступили слезы,

закапали горько-сладкие, частые.

Смотрел землемер, не отрывался.

– Запомнишь, как мы в монастыре пили чай? – очень тихо сказал землемер. Как-то само сказало: запомнишь, очень захотелось сказать так.

И сразу от «запомнишь» утихла Лизавета Петровна, как и не было смеха, сидела, покорно опустив голову.

– Господи, что же это из имения-то никто не едет, что же там? – на лету последний раз ухватилась Лизавета Петровна.

– Поздно уже... – засмеялся землемер и вынул часы. Было еще девять, но знал землемер: поздно уже, все уже решено.

Встал, прошелся взад-назад, покачался еще секунду на краю – и остановился сзади стула Лизаветы Петровны. Так же, как тогда с Фунтиком, взял в руки ее голову, тихонько-тихонько, и стоял так: страшнодохнуть. Потом опустился на пол, долго, прощально, нежно целовал колени сквозь шелк. Сладко укололся о какую-то булавку в платье. Время прекратилось.

...Может быть, это случилось очень скоро: начали стучать в дверь. Услышал землемер, как во сне: знал, что стучат – но не было сил выпутаться из сна и услышать. И уж когда стал стук совсем оголтелый – оторвал губы от колен, поднял голову; стучат.

Встал, подошел к двери, не своим голосом спросил:

– Кто там?

– Да господи, да что вы, оглохли там ай спятили? Да я же, Авдевна, ну?

Землемер отпер. Поставил свечку за ширму, нестерпимо резала глаза свечка. Вышел на балкон. От белой стены напротив – такая же резь в глазах, как от свечки. Как ни в чем не бывало – разгуливал по стене павлин.

– Митька этот пьяный – все окна вдребезги... – всхлипывала, причитала Авдевна. – От посуды – ни звания не осталось. И кофейник серебряный...

– А часы?

– А часы твои сняли – да на подводу, тащат, а пружины-то бренча-ат... А Митьку уж под руки – насилушки вывели...

Уж будто такое часы эти – не снесла часов Лизавета Петровна: ничком в подушку. А может, совсем и не от часов это – от другого.

Утерлась Авдевна, деловито выпила холодного чаю, опять утерлась – и села, разлатая: с места не сковырнешь.

– Ну, теперь что же, деваться мне некуда, я тут в уголку на ковре лягу. А ты бы, батюшка, на станцию бы ехал. Ничего, ко времени поспеешь.

Вынул часы землемер: да, ко времени. Засмеялся, затрясся весь. Подошел к кровати:

– Ну что ж, Лизавета Петровна, прощайте... – оглянулся на Авдевну: она копошилась, угромащивалась на ковре. Нагнулся землемер к Лизавете Петровне, к уху,дохнул: запомнишь? – и вышел.

Всю дорогу до станции висел над землемером лиловый с неба язык. Курил землемер папиросу за папиросой. А взглянет вверх на язык – и закатится: у кучера инда мураши по спине, и все пуще настегивал лошадей.

Приехали загодя. В пустом, темном зальце первого класса сидел землемер за круглым клеенчатым столом, а на столе – графинчик с водкой. Пил землемер и все яснее видел себя, каким был бы раздетый: громадная голова – и тоненькие кривые ножки – как паук.

– Тьфу! – сморщился весь. Поглядел графинчик на свет и спросил еще.

Пока буфетчик наливал, землемер подошел к окну – взглянуть последний раз в ту сторону, где была усадьба Лизаветы Петровны. Он увидел: в черном небе вырезаны были огромные, красные, качающиеся ворота – горела усадьба.

1918 год